

Лаза ЛАЗАРЕВИЧ

ОН ЗНАЕТ ВСЕ!¹

Р а с с к а з

От переводчика

Лазар (Лаза) Лазаревич (1851—1891) прославился в первую очередь как выдающийся сербский медик — невролог и психиатр. Сын купца из Шабаца, он окончил медицинскую школу при Берлинском университете, вернулся в родную Сербию и уже в тридцатилетнем возрасте был назначен главным врачом Белградской государственной больницы. За оставшиеся десять лет жизни он успел поучаствовать в трех войнах, дослужившись до подполковника, основать Отделение лечения стариков и Больницу душевных болезней, а затем даже стать личным врачом короля Милана Обреновича. Лазаревичем написаны десятки научных работ по медицине, но куда более широкую известность в Сербии и за рубежом получили другие его произведения — реалистические рассказы и повести, написанные прекрасным слогом, с мягким юмором и большой любовью к героям, соотечественникам автора. К сожалению, рассказов этих немного, меньше десятка, но это не мешает сербам считать Лазу Лазаревича классиком национальной литературы, создателем сербской психологической прозы.

Прекрасно образованный, отлично знавший русский, немецкий и французский языки, Лаза Лазаревич начал свою литературную деятельность с переводов на сербский Гоголя и Чернышевского. Известность ему как автору принес рассказ «Впервые с отцом к заутрене» (1879), за ним последовали «Школьная икона», «В добрый час, гайдуки!», «Вертер», «У колодца», «За народом не пропадет». В 1886 году все они вышли под одной обложкой в сборнике «Шесть рассказов». Проза Лазаревича эмоциональна, певуча, лирична и патриархальна в лучшем смысле этого слова. Изображает он в основном жизнь простых людей, а самые проникновенные строки посвящает отношениям между детьми и родителями и, даже показывая конфликты между ними, раз за разом напоминает о ценности семейного

¹ Перевод с сербского М. Сердюка. — Прим. ред.

тепла, родственного взаимопонимания и поддержки. Уже после смерти автора вышла его «Немка» — автобиографическая эпистолярная повесть о любви.

В России некоторые рассказы Лазаревича переводились и с 1887 года печатались в «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Русской мысли», «Мире Божьем». Так что русскому читателю конца XIX века имя сербского новеллиста было хорошо знакомо, чего не скажешь о наших современниках.

В томском издательстве «Гусеница», которое выпускает сербскую литературу на русском языке, готовится к печати сборник произведений Лазы Лазаревича, где наряду с переводами XIX века будут и современные. Один из таких новых переводов — перед вами.

Рассказ «Он знает все!», написанный в 1889 году, — последнее произведение Лазы Лазаревича. За него автор получил премию Сербской королевской академии. Проникнутая ярким южнославянским колоритом история двух братьев, рассказанная их старшим родственником, заставляет и улыбнуться, и посочувствовать, и вновь задуматься о ценности родных и близких людей.

Михаил Сердюк

В те времена людям некогда было ни прилечь, ни присесть, даже ложкой порой не в рот, а в нос попадали — на ходу ели... Но начну-ка я с начала!

Нельзя сказать, что Вучко не учился, но вел он себя жуть как плохо! Иначе бы не выгнали его из школы. Не знаю, как на нас, прочих, но на него школа не оказала никакого воспитательного влияния.

Он ведь, помимо всего прочего, еще и тонул, и даже трижды. А ни один хорошо воспитанный ребенок такого делать не станет. Трижды! Дважды в Саве, во время купанья, а один раз — в пруду, когда провалился под лед... Его секли перед всеми четырьмя классами — за то, что прямо на рынке выпряг коня из цыганской повозки и проскакал на нем верхом по всей торговой части города. В скамейке парты перед собой он сконструировал тонюсенькую дырочку, а в ней спрятал иглу на ниточке: когда кто сядет на то место перед ним, он только дернет за нитку — и готово! А когда поднимешься — не видишь ничего. Разумеется, эта его пакость не могла скрыться от учительских глаз — ведь тот, кто сидел перед Вучко, всегда по два-три раза за урок вскрикивал и вскакивал, хотя руку не поднимал.

Вот какой он был!

В тот судьбоносный день он, как и всегда, был нашим царем. А с другой стороны предводительствовал Джокица Джурич. Этот Джокица, очень мудрый царь и очень осторожный воевода, спрятал главную часть своего войска в хлеву у себя во дворе и лишь слегка тревожил нас то изредка высылаемыми из дровяника отделеньями, то стрелковой цепью из-за дощатого забора. Мы, набив карманы камнями, одной

атакой преодолели забор и оказались во дворе. Тогда сверху, с слева, из слухового окна в нас полетели камни — да так густо, что наш центр в беспорядке отступил, а фланги и вовсе полезли через забор обратно. Ике разбили голову, а Маркича ударили в спину так, что он стал плакать и оставил боевой порядок, угрожая, что завтра всех нас заложит учителю.

Вучко, наш царь, видя, что в войске резко падает моральный дух, скомандовал:

— В атаку!

Но никто не решился атаковать укрепленного неприятеля.

Тогда Вучко тоже вернулся к нам, перепрыгнув через забор, вынул ножик и заорал:

— Каждого проткну, кто в атаку не пойдет!

Тут нам стало не до шуток! Мы тотчас же снова оказались с вражеской стороны забора и слаженно полетели вперед, крича «ура» и лупя камнями в слуховое окно. Неприятель поколебался и быстро оставил позиции. Видя, что отступать им некуда, враги прямо из окна попрыгали вниз на кучу навоза. Одни сдались, другие попытались найти спасение в бегстве. Их разъяренный царь Джокица неустрашимо пролетел промеж нас прямо к Вучко, молотнул его каким-то дрыном по голове и тут же пустился наутек. Но Вучко рванулся за ним, догнал и ткнул его ножиком в ягодицу. Кровь проступила сквозь штаны. Мы с визгом разбежались и расселись по забору, испуганно ожидая, чем все это кончится. Тогда прибежали старшие — и отвели Вучко в тюрьму. В настоящую тюрьму! Где сидят настоящие задержанные! К исправнику!..

Вот тогда-то, во втором классе гимназии, его и выгнали из школы.

Нам словно полегчало! Не то чтобы мы его ненавидели — сейчас-то я думаю, что мы ему просто по-настоящему завидовали и — боялись его. Да и как его было не бояться? Его, который не боялся никого!..

Хотя — все-таки!

Брата своего Видака он боялся как бога!

И тому Видаку, который тогда был калфой², жаловались на Вучко и мы, и их бедная мать, и учитель, а позже даже и сам директор гимназии.

Хотя тот на многие проделки Вучко смотрел сквозь пальцы, но, когда их мать умерла, никто больше не приходил к директору причитать и плакать, поэтому в тот же день, когда Вучко выпустили из тюрьмы, выгнали его и из школы. Его — Вучко Теофиловича!

После этого брат его Видак устроил так, чтобы Вучко приняли учеником в ту же лавку, где сам он был калфой. И там, говорят, Видак его злодейски избивал. Даже, говорят, ногами топтал!

С той поры Вучко пропал с наших глаз, но воспоминания-то остаются, поэтому еще долгое-долгое время был он нашим героем, нашим недозванным идеалом.

² Калфа (от тур. «помощник в ремесле») — подмастерье, приказчик. Здесь и далее — примеч. перев.

Мы уже, пожалуй, оканчивали лицей, когда брат его Видак начал работать на себя и взял младшего к себе в лавку калфой. Говорят, что с того времени Видак больше и пальцем брата не тронул. А почему бы и нет?

Как-то раз отправил его Видак за кредитом. Вучко приехал в нужный городок, получил кредит и тут же проиграл все в карты! Как говорится, и над попом поп найдется... Тут он поначалу растерялся: домой теперь нельзя, а куда — не знает! В то же время некий цыган, который водил по ярмаркам медведицу, разболелся намертво. Вучко сцапал эту подвернувшуюся медведицу — и давай водить ее по улицам! К вечеру у него уже было столько денег, что он опять попытал счастья за картами. И еще до полуночи настолько привел в порядок свои финансы, что заря его застала уже на пути домой, далеко от того места.

Говорят, что с той поры в карты он больше не играл, но азартная страсть у него осталась, найдя свое выражение в игре в крейцер. Игре, которая, как вы знаете, практически исключительно детская. Но он продолжал ею забавляться, давно выйдя из детского возраста.

Также говорят, что Видак ему ни слова сказать не захотел, когда услышал, что с ним в том городке приключилось.

Какой-нибудь приятель, бывало, спрашивает Видака:

— Слушай, что ты своего малого не поприжмешь?

— А с чего бы?

— Да ведь, слушай, это ж не мелочи! Он так однажды все твое имение спустит!

— Не сможет он его спустить, да и не захочет; не будет у него на то ни возможности, ни желания, — отвечает Видак небрежно.

— Да ведь, понятное дело, что не захочет — а если все же ненароком такое учинит? А после увидит, что деваться некуда, а тебя он боится... П-и-их! Может ведь и руки на себя наложить!

— Каждый сам себе и своей голове господарь, — отвечает Видак, позеленевши. — Вот и тебе, — продолжает он, дрожа от злости, — лучше бы за своими делами смотреть. Ты, мне кажется, никого из нас, братьев, хлебом не кормишь, и ни один из нас тебе не должен!

Тот приятель, конечно, видит, что здесь не стоит зубы тупить, ну и отстанет.

Но именно с того дня Видак стал как-то мягче, как-то дружелюбнее относиться к Вучко.

Прежде он обращался к брату так:

— Иди-ка сей же миг к Маринко-лавочнику, передашь ему, что я сказал!

А с той поры стал говорить иначе:

— Слетай-ка, ей-богу, до Маринко-лавочника и проверь там, как ты умеешь, наши с ним дела...

Прежде он с Вучко говорил больше взглядами — на слова он вообще был скуп, всякое его слово дорогого стоило, — а с той поры выбрал этаким

натянuto-интимный тон. Только, как и прежде, не делал ничего, похожего на какое-то изъяснение любви и братской нежности. Доверял младшему брату, как и раньше, безгранично, и всегда для обоих кроил одинаковое платье. И это все!

Еще, правда, давал он Вучко и своего гнедого, чтобы съездил куда при случае. А больше — никому! Да, по правде говоря, вряд ли кто другой, кроме них двоих, смог бы усидеть на том гнедом.

В те времена людям некогда было ни прилечь, ни присесть, даже ложкой порой не в рот, а в нос попадали — на ходу ели... Ну да Бог поможет!

За несколько лет Видак выбился в первые хозяева и однажды явился свататься к моей двоюродной сестре — к Илинке, дочери дяди Тодора.

Сватовство и обручение состоялись одновременно — обычное дело для тех времен. Дядя Тодор кликнул несколько своих приятелей, Видак пришел с братом и с несколькими знакомыми. Вучко нашел шаркияша³ и волынщика.

В комнате царила тихая холодная торжественность — словно на станции, когда уже три раза прозвенело, вагонные двери закрыты и ожидается лишь писк локомотива.

Встал поп. Встали и Видак с Илинкой.

Поп произнес «несколько поучительных слов о браке». А потом спросил их двоих, согласны ли пожениться. Ответили, что согласны.

Потом начали целовать руки. Сперва попу и дяде Тодору, а затем по очереди старым людям.

Их поздравляли. И вот уже словно поезд захотел тронуться, и Стоян Приклапало подмигнул цыганам, чтобы те заиграли, а девушкам — чтобы те принесли вина, и Илинка пошла на кухню, как Видак вдруг поднялся и окликнул:

— Илинка!

Она вытянулась как свеча, опустила глаза и покраснела.

— Видишь ли, — промолвил Видак как-то слишком серьезно, — тут еще есть чему совершиться этим вечером... Первое: вот тебе перстень!

Он снял с руки перстень и протянул ей. Илинка его стыдливо приняла двумя пальцами.

Тогда Видак повернулся к брату, бросив на него один из тех взглядов, которыми смотрят на хорошо воспитанных детей, когда нужно, чтобы те вышли из комнаты:

— Сбегай-ка домой, посмотри — погасили младшие огонь в печке?

Вучко выбежал раньше, чем Видак договорил свое приказание.

Тогда Видак повернулся к Илинке:

— Есть еще кое-что! — говорит он. — Видишь: это мой брат. Ты его уже знаешь. Он хоть и немного ребячлив, но ему пока так и подходит...

³ Шаркияш — музыкант, играющий на шаркии (балканский щипковый струнный музыкальный инструмент с двумя-четырьмя струнами, разновидность тамбуры).

Нет у него ни отца, ни матери, но он не сирота! Есть кому о нем позаботиться! Лучше всего будет сейчас тебе это сказать... Запомни: сперва за ним смотришь, а уж потом за мной... Хочу, чтобы были у него рубашка к рубашке, носок к носку! Первым делом хочу, чтобы ему умыться попила, а уж потом — мне; его угостишь, а уж потом — меня. И ни обидеть его не смей, ни огорчить, а уж меня — как захочешь... Вот! Это и ты, газда⁴ Тодор, услышь!

Дяде Тодору словно бы не по душе такое соглашение. Он нахмурился и лишь отмахнулся:

— Это ваши дела!.. Как вы двое договоритесь.

— Э, да так ли будет, Илинка? — обратился Видак опять к ней.

Она кивнула.

— Одно лишь это и запомни! А теперь... теперь можешь идти, куда шла!

Она вышла. Сразу внесла вино и всяческие закуски. Быстро Стоян Приклапало начал произносить здравицы. Общество развеселилось. Со двора слышится игра волынщика и топот ног в такт. На кухне Вучко среди девушек, феску надвинул на глаза, а шаркияш у него за спиной бьет по струнам и отсекает:

Посильней ногою топну,
То-то пыли подниму!

И в комнате цыгане налегли подбородками на скрипки. Бубен до мозга пробивает! Вино — как громом оглушает!

Когда я через три года вернулся домой, тут же поспешил к Илинке.

Войдя, я сразу увидел в глубине двора, у забора, прислонившегося к колодцу Вучко. Я решил обойти вокруг домика, чтобы появиться перед ним неожиданно. Но как только подошел ближе, за забором сверкнул чей-то глаз, и я, судя по покрасневшимся щекам Вучко, сразу заключил, что это rendez-vous. Хотел было потихоньку спрятаться, убежать, но в этот миг тот глаз меня заметил! Девушка за забором словно взвилась, вспорхнула на целую сажень над землей — и умчалась к своему дому.

Вучко сперва недоуменно посмотрел ей вслед, лишь потом заметил меня; притворившись, что меня не видит, он начал ревностно дырывать сверлом какой-то деревянный кругляшок, который держал в руке.

И я, конечно же, вышел к нему довольно неуклюже.

— Эй, что это ты там мастеришь?.. Помогай бог! Как дела?

Он вскочил и расцеловался со мной:

— Помогай тебе бог! Слава богу! Как ты? Вот, делаю тележку моему малышу племяннику!

⁴ Газда (серб.) — хозяин, собственник, работодатель. Также используется как обращение в значении «богатый, уважаемый человек».

Мне не терпелось повидать Илинку, которая еще два года назад родила.

После всех обязательных и необязательных вопросов я сказал ему, чтобы отвел меня к ней, — хочу, мол, увидеть и ее, и ребенка.

Боже мой! Какое изменение! Из девочки — в цветущую женщину! Она вышла ко мне словно тот памятник, который я видел в день его открытия посреди голой площади, а теперь вокруг него раскинулся ухоженный и величественный парк.

И какого дивного ребеночка держала она на руках!

Спрашивал я ее обо всем. Хотел и еще кое о чем, но как-то стеснялся. Наконец едва выговорил:

— Ну как живешь-то?

— Хорошо!

— Знаю! А Видак?

— Ты о чем?

— Видак! Как он о тебе заботится? Какой он муж?

— Заботится обо мне, как и отец бы обо мне заботился, и, прости господи, даже больше. А добр он как добрый день, да еще и знает все!

— Как это: знает все?

— Ну вот так: знает все! О чем чего ни скажет — так и выходит! Каждое слово его свято!

— Э, э, Илинка! Ты со мной говоришь как с чужаком. А ведь я-то знаю, что Видак — простой человек!

— Простой, так и есть. Но ты только посмотри: ни в каких высших школах не учился, а притом все науки знает!

— Знает, поди, и как земля вращается?

— Ну да, знает!

— Что знает?

— Ну, как земля вращается!

Я остолбенел от удивления. Конечно, я и не думал вести таких безумных разговоров, язык меня как-то сам повел. Теперь же меня разобрало любопытство.

— Ну хорошо — а откуда он знает, как земля вращается, и откуда ты знаешь, что он будто бы это знает, и с чего бы ему тебе об этом рассказывать?

— Э, да он мне про все рассказывает, о чем ни спрошу! Я его спрашиваю, а он мне рассказывает. Я — вот как раз о том, про что говоришь, — нашла как-то на горшке с повидлом одну бумажку, а на ней что-то было написано про землю, ну я его и спросила, а он мне все и рассказал. Так и есть, ей-богу! И говорил, что того, кто догадался, что земля вращается, убить хотели! Этого... Гуттенберга!.. Его же Гуттенбергом звали?

— Нет! — говорю я, все еще остолбеневший.

— Э, ну не знаю теперь, — продолжает она простодушно. — Не помню точно, как его там звали... Впрочем, Гуттенберг ведь тоже что-то придумал!.. Так ты видишь теперь, что он знает все?

— Вижу, вижу!

Ее глаза победно засветились. Она схватила меня за руку и ввела в большую комнату. На полке под иконой аккуратным рядком стояла дюжина красиво переплетенных книг.

— Видишь, — она гордо показала на них рукой, — видишь? И все это он знает! И мне много рассказывает. Вот!

И начинает монотонно, с ударениями, читать вслух:

— «Жизнь и чрез-вы-чай-ные приключения слав-ного англичанина Робинзона Крузо»... Знаю! Это тот, у которого корабль потонул, ну он после... П-и-их!.. Он все это мне рассказывал!.. А это «Ру-ко...»... Знаю! Это «Руководитель»! Здесь есть все: даже про всякие лекарства есть, от любой болезни!.. А это...

— Оставь, прошу тебя, книги! Книги меня из дома выгнали!

Мы замолчали. У меня словно помутнело в голове. Поиграв немного с ее ребенком, я опять завел разговор:

— Слушай, Илинка, ну а этот Вучко?

— Что?

— А с ним как ты ладишь?

— Хорошо, бог с тобой! Как же иначе, если не хорошо? Он мне деверь!

— Знаю. Но ведь он...

— Что?

— Ну, мягко говоря, недоумок!

Она покраснела:

— Скажешь тоже — недоумок!.. Просто он пока еще дитя малое!

— Малое? Это потому, что до сих пор в крейцер играет? Да это дитя... — Я хотел сказать «уже усы за уши заправляет», но это не было правдой, а с Илинкой образно говорить не стоило.

— Ей-богу, дитя. И, слава богу, есть кому о нем позаботиться! Он... — Она весь наш разговор называла своего мужа только «он». — Он ему то же, что и мне: и за отца, и за мать! Пока он у нас есть, мы можем быть спокойны, все у нас будет хорошо. Ни голодать не будем, ни еще что-нибудь... Он знает все!

— Хм! А пьет ли это дитя? — Я намеренно выделил голосом «дитя» и показал рукой на двор, где Вучко делал тележку племяннику.

— И пьет, и курит, но только не при нём! Я ему, бывает, подбрасываю лишний крейцер на табак и прячу его пьяного, чтобы он его не видел.

— Хм! Не нравится мне это. Стоило бы твоему мужу его немного поприжать.

Она положила уже заснувшего сына на подушку и сердито обернулась ко мне:

— Я тебе говорю: он лучше знает, что делать! Он знает все!

— Ну хорошо, хорошо!

Как сладко мне все это вспоминать...

В те времена людям некогда было ни прилечь, ни присесть, даже ложкой порой не в рот, а в нос попадали — на ходу ели... А со стороны выглядело так, словно все шло само собой — и пилося, и пелось, и веселилось!

Разудальи́й наш приятель Павел был и торговец хороший, и молодец хоть куда!

Когда однажды в воскресенье нам, немного окосевшим после обеда, вывели оседланных коней, я думал, что Павел и шагнуть-то не сумеет. Ну какой ему, пьяному, конь? Он и по земле-то шел раскачиваясь, а на коня взбирался, словно на грушу лезет... Но лишь оказался в седле — сразу другой человек! Как влитой! Конь поднял голову, фыркнул, скакнул разок-другой, да и встал как вкопанный. А Павел лишь стыдливо улыбался, утирая нос рукавом и поглаживая коня ладонью по шее...

Когда мы выехали из городка, Видак сразу же отделился от компании и пустил своего коня выплясывать по траве вдоль дороги. Его гнедой переливался на солнце почти как надраенный щеткой таз. Он был той редкой арабской породы, кони которой до недавнего времени были у нас в большой цене, а сейчас их, почитай, совсем не стало. На длинных ногах, с коротким телом и шеей, широкой грудью, на маленькой изящной морде широченные ноздри и большие глаза. Голова и ноги — сплошь одни кости да жилы, а по крупу вдоль обычно идет этакий желоб, и из желоба того вытягивается прямо назад и чуть кверху хвост, который разными щегольскими способами расчесывают, заплетают, а в тяжелые времена, когда не до роскоши, можно и просто узлами завязать.

У таких коней — по их норову ли, по худой ли дрессуре? — и близко не было той достойной холодности и прирученности, которую покажет любой обычный араб или англичанин, даже когда шибанешь его хлыстом или наподдашь по брюху шпорами. Напротив: они всегда бывали столь дурного нрава, что лишь безумный всадник смел оседлать безумного коня. Совет конь шею так, что жилы набрякнут, развалит ноздри, распахнет челюсти и ну прыскать пеной — дрожит как осиновый лист, словно с тяжелой гонки возвращается, а не только что со двора вышел. Тогда бойся его! Ничто не поможет — даже те немилосердные удила, у которых мундштук глубоко в глотку коню забивается. Охваченный, вероятно, каким-то тщеславием, он со звериным восторгом несет своего всадника, думается, прямо в смерть! Но и всадник не лыком шит: надвинет феску на ухо и сидит в седле легко и небрежно, как дитя на качелях. Вот такого удальца конь уже признает, его терпит, а вероятно — и любит, даже словно гордится им, и тогда несутся они оба так, что всаднику легко рукой до облака достать.

Но тот же самый конь, когда поедешь по торговым делам, когда перекинешь ему через спину вьюки да затянешь ремешки седельных сумок, — пойдет тем шагом, что зовется «ровным», и никакой тебе тут скаковой

удали! Он даже умеет перед пивной сам подойти к бинекташу⁵ и ногой подавать знаки, которые трактирщики уже понимают — соответственно и выносят кому вино, а кому кофе и ракию...

Мы все ехали по широкой дороге, играли и перестраивались, слушаюсь Павла, который скакал чуть впереди и, изображая старшего, командовал нами по-военному. Один лишь Видак как-то отделился от компании и все скакал по целине вдоль дороги. Конь его по-заячьи подпрыгивал и, где бы ни увидел какой-нибудь поломанный куст, канаву, колоду или лужу, уже издали сердито взъерошивался и фыркал, зная, что Видак сейчас заставит его перескочить. Хоть у всех нас тоже были добрые кони и мы вполне полагались и на них, и на себя, мы все же с едва прикрытым удивлением поглядывали на Видака, который с какой-то необычной легкостью и небрежностью, но при этом прочно и уверенно сидел на своем гнедом. А гнедой был весь в пене, как намыленный, и из той пены пугающе атели ноздри — как два красных ночных фонаря на локомотиве. Он словно наблюдал за нами искоса своим блестящим глазом; и, вероятно, видя, как мы им со стороны любуемся, метался рывками то в одну, то в другую сторону, резко рвался вперед или вставал на дыбы, когда Видак слегка его касался то одним, то другим, то обоими стремянами.

Верховая езда опьяняет, как вино. Поскачет человек от дома со вполне миролюбивыми намерениями, но стоит лишь ему оказаться в веселой компании и закататься в седле — такой всадник словно сознание теряет, убаюканный какой-то геройскою мечтой! Чем веселей компания, тем и кони беспокойнее, и ты уже механически отпускаешь поводья, поддаешь икрами, и тогда уже летишь куда-то, куда тебя сама душа твоя ведет, словно несет тебя конь под облаками, лишь на мгновения задевая копытами землю.

Ехавший чуть впереди Павел, конь у которого среди нас был, пожалуй, самый лучший, вдруг повел его боком и некоторое время пристально рассматривал Видака на его гнедом. Вероятно, Видака этот взгляд несколько раздражал, — обернувшись в нашу сторону, он вдруг гикнул:

— А теперь — ха!

И пустил коня вскачь. А мы тоже, посильней надвинув фески, отпустили поводья, икрами сжали своим коням бока — и только ветер в ушах засвистел, да глаза заслезились.

Так мы летели несколько секунд: Павел впереди, я сразу за ним; в каком порядке скакали за нами остальные, я не знаю. Только вдруг меня словно ветром обдуло: я, прижавшись к коню, почти лежа на нем, отчетливо видел лишь мелькавшие впереди копыта задних ног Павлова скакуна, но краем глаза заметил, как Видак на своем гнедом пролетает мимо меня, обгоняет Павла и стремительно удаляется куда-то на край света!

Павлов конь ненамного опередил моего. Вижу, Павел высоко поднял правую руку. Может, он что и крикнул, но кто ж его услышит? Разве

⁵ *Бинекташ* — специальный камень (тумба) для удобства посадки на коня.

что я... Только вижу, что скакавшие за мной стали придерживать коней. Сейчас все мы, вновь сблизившись, просто неслись вперед, чтобы Видак не пропал у нас из глаз. А он снова свернул с дороги на траву и погнал коня прямо к заросшему терновником высокому берегу. Мы еще чуть придерживали коней, когда Видаков гнедой внезапно оторвался от земли, поджав под себя ноги, и взлетел над кустами. Словно кто его понес! Вот он уже с той стороны! Но вдруг он так же внезапно исчез, и мы разглядели, как Видак, словно выпущенная из лука стрела, уже один летит головой вперед! И пропал за стеной терновника!

Павел вскрикнул:

— Видак погибает! — и наподдал коню по животу стремями.

Мы припустились за ним и вскоре прибыли к месту плачевного зрелища.

С той стороны кустов, в двух-трех шагах от берега, мы увидели опрокинутый плуг, меж рукоятей которого застряли передние ноги гнедого. Конь лежал на боку, вытянув челюсть как мертвый, бока его ходили ходуном, от него поднимался пар. Перед ним, с переброшенной через конскую морду ногой, зарывшись лицом в землю, лежал на животе Видак — казалось, совершенно без признаков жизни.

Павел — единственный из нас, кто перескочил кусты на коне и первым домчался до Видака, — увидав того бездыханным, соскочил с коня, забросил поводья за луку седла и хлопнул себя по лбу так, что слетела феска, горько и жалобно выкрикнув:

— Й-их, й-их, бедняга!

Затем пал ниц возле Видака, сунув локти под лицо, и затрясся, громко всхлипывая.

Не знаю, кто из нас оказался самым хладнокровным и перевернул Видака на спину. Из рта его пузырилась кровь, все лицо было измазано — кровью и вспаханной землей. Глаза закатились. Не знаю, дышал ли он.

Павел то и дело поднимал голову и смотрел на Видака, но всякий раз, вскрикнув: «Й-их, ты, бедняга!», быстро вновь прятал лицо, думая, наверно, что, пока он так жмурится, весь этот страшный сон переметнется обратно в веселую явь.

Упавший гнедой сейчас не был Видаку удобным соседом, поэтому кто-то, потянув за рукоятки, вытащил плуг из-под коня, а затем пнул того ногой в живот. Известно, как неуклюже и безнадежно выглядит это быстрое и бесстрашное животное, когда падает, особенно набок. На первый удар гнедой только всхрапнул, но на второй и на третий стал неловко опираться ногами о пашню и, под упорные понукания с двух-трех сторон, поднялся. Встал как вкопанный — и с каким-то растерянным недоумением и страхом стал смотреть на эту суету вокруг себя.

Мы тоже стояли как безумные, не зная, что нам делать. Кто-то утер Видаку подолом кровь и землю с лица, но он не очнулся. Мы договорились искать какую-нибудь повозку. Кроме Павла, все вскочили

на коней и разлетелись в разные стороны. И воротились мы ни с чем, и опять разбежались, и в конце концов кто-то привел с собой хорошие дроги.

Переворошив в повозке сено, мы уложили на него Видака: теперь можно было заметить, что он дышит, и даже услышать, как у него что-то клокочет в груди.

Павел привязал Видакова гнедого к перекладине повозки, а сам поехал впереди перед ней. Мы же, остальные, обступили дроги кругом и, ведя коней в поводу, молча и невесело пошли рядом.

Павел то и дело оборачивался и поглядывал на повозку — видимо, надеясь, что Видак откроет глаза. А после бросал взгляды и на нас — очевидно, пытаясь узнать по нашим лицам наше мнение о его состоянии. Но все, что ему удалось увидеть — как в повозке, так и на наших лицах, — привело лишь к тому, что он неожиданно снял феску, закрыл ею лицо и так согнулся, что приник головою к самому седлу. Мы видели, как трясутся его плечи, и сами были готовы заплакать.

«Ах! — думал я. — Что теперь будет с бедной Илинкой? Убьет она себя, в бога и в душу! Как же ей теперь оставаться с этим червем, с этим шалопаем, с этим полоротым ветрогоном Вучко!»

С запада надвигалась туча — словно чье-то большое злое черное крыло распростерлось над нами, над дорогой, над вселенной.

Уже смеркалось, когда мы медленно входили в городок.

На самом въезде Павел поднял правую руку. Процессия остановилась. Он притиснул коня к повозке, нагнулся к самому рту Видака. Затем немного отодвинулся и пристально всмотрелся в его лицо, а после опять прильнул к нему ухом. Снова поднялся, поправился в седле и некоторое время, о чем-то размышляя, глядел в уже пепельно-серое небо; потом вновь уткнулся в феску и затрясся в неслышных рыданиях. Затем поворотил коня и поехал вперед, но феску на голову не надел, продолжая держать ее в опущенной правой руке. Мне кажется, что многие из нас, уж не знаю, по какой причине, тоже снимали фески, когда копыта наших коней застучали подковами по мостовой городка.

Через городок идти было легче, чем полем. Люди, сперва из любопытства, а после из участия, начали пристраиваться за повозкой. Никому и в голову не пришло побежать вперед, чтобы «подготовить» семью и, что еще важнее, позвать доктора; так вся наша процессия, с каждым шагом разрастаясь, шла тихо и угрюмо, словно облако, неожиданно приносящее бурю, град и громы, и остановилась перед домом Видака.

Поскольку было воскресенье, все было закрыто. И у Видака тоже были закрыты и ворота дома, и ставни лавки, — казалось, вся улица, закрыв глаза, отвернулась от этого жалобного зрелища.

Толпа остановилась, люди испуганно и участливо поглядывали на ворота, пока из них, как безумная, не вылетела Илинка; вскочив через колесо в повозку, она упала Видаку на грудь. Ничего не говорила, лишь вопила в голос бесконечное «ой-ой-ой!».

Тогда откуда-то возник и Вучко. С ходу впрыгнул в повозку, нигде и рукой не придержался. Встал там прямо, словно деревенская невеста, посмотрел вниз на лежащего без сознания Видака и сидящую возле него убитую горем Илинку, посмотрел вверх, на небо, снова вниз, а затем со всей преданностью своей души, сильно и искренне, как цыган, ударил себя в грудь и сам рухнул на колени возле них двоих. Но в тот же миг, словно обо что обжегшись, вскочил и крепко ухватил Илинку за плечи.

— Подымись-ка, сноха! — Голос его был непривычно ясным, звонким и повелительным. Глаза его светились.

Илинка, сломленная, чуть ли не вдвое согнутая горем, поднялась на ноги, как послушное дитя.

— Да он же еще жив! — вскрикнул Вучко радостно, глядя в небо так, словно говорил это кому-то там, наверху. — Слезай, сноха!

Она послушно сошла с повозки, придерживаясь за людей, очевидно не разбирая, чего от нее хотят.

— Влезай сюда еще кто-нибудь один! — крикнул Вучко своим новым голосом.

Кто-то вскочил на дроги. Вдвоем они подхватили Видака и передали на руки, уже протянутые к повозке несколькими людьми.

Видака внесли в дом, в комнате его раздели, обтерли от крови и положили в постель. Но он так и не очнулся.

Тогда Илинка во весь голос жалобно вскрикнула:

— Горе мне, несчастной! Что буду делать, бедная, одна да с сиротой! — и собралась было упасть Видаку на грудь.

Но тут вмешался Вучко и придержал ее, чтобы не падала. Выпятив грудь, он снова хлопнул по ней кулаком, подняв глаза куда-то на чердак, но на этот раз как-то кокетливо, как актер, которому важен эффект:

— А я? Или я не жив?! Разве...

Но тут голос его предал. Закрыв глаза руками, он вылетел на улицу, пробежал сквозь толпу собравшихся, домчался до повозки, в которой привезли Видака, запрыгнул в нее, огрел коней вожжами — и исчез.

...На кровати тяжело и равномерно дышит Видак. Илинка склонилась над ним, не шевелится и не плачет. У Видака в изножье на дощатом полу неподвижно сидит, скрестив ноги и обхватив руками лицо, добрый и простодушный Павел. Он тоже не плачет. В комнате полно народа. Все перешептываются.

Тут снова с улицы послышался грохот. Перед домом остановилась повозка. В комнату влетел растрепанный Вучко, волоча за собой доктора.

Чуть шагнув в дом, доктор прямо с порога скомандовал:

— Алле, фсе бабы — вон!

Вучко широко распахнул двери. Первыми вышли женщины, за ними и мужчины. Лишь Илинка и Павел остались на своих местах.

Доктор подошел к кровати, присел возле Видака и стал его осматривать. Проверил пульс, прислонил ухо к груди, поднимал веки, чтобы посмотреть в глаза, тщательно обследовал рот, нос и уши. Ощупал руки и ноги лежащего, да и вообще его всего, с головы до пят, а когда дошел до правого плеча, произнес:

— Ja, ja, ja, hat ihn schön!

Еще раз вытер кровь с безвольного лица, пальцами раскрыл больному глаз и стал то приближать, то отдалять свечу. Снова проверил пульс и, наконец, подняв голову, обратился к Вучко:

— Он есть так пал? — и показывает рукой: мол, головой вперед.

— Так пал! — кивает Вучко, так же показывая рукой.

— Он не есть блевал?

— Не блевал! — говорит Вучко.

Доктор снова проверил Видаку пульс и, словно в некотором недоумении, пожал плечами.

— Он есть жив! — говорит Вучко.

— Алле так, брату! Видишь, он дышит!

— Но он же останется жив? — спрашивает Вучко.

— Алле, это есть Бог знать!.. Он не есть блевал, не есть ему шла крев из нос, не есть ему шла крев из уха. Пульс... — Доктор опять схватился за пульс и посмотрел на часы, задрав голову, словно разговаривал не с Вучко, а с кем-то там, на чердаке. — Так и есть: восемьдесят! Может, он и не разлупил главу там, где это есть смертельно. Алле, брату, ты то не разумеешь!

— Да все я, приятель, разумею! Просто ты мне будешь вылечить брата, а я тебе буду заплатить, и всё желтыми дукатами, хэй!

На лице доктора показалось выражение негодования и презрения:

— Алле, ты есть так прост! То Бог может лечить! Жди, брату, до утра, мы то увидим. Сейчас я вижу, что он только зломил эту кость, — он показал на правую ключицу, — и мозг у него... Алле, ты то не разумеешь!

Доктор привязал Видаку обе руки к телу, закрепив повязку на спине крест-накрест, особенно туго стянул правый плечевой сустав, чтобы рука не двигалась. Прописал какие-то порошки, а на лоб больному приказал класть мокрые холодные тряпки. В те времена по осени льда не было даже для пива, не говоря уж о болящих.

Потом он поднялся и ушел, обещав, что завтра зайдет пораньше.

Как только доктор вышел, Вучко, стоявший на коленях у кровати Видака, вскочил на ноги и вспыхнул.

— А что ты здесь стоишь, Стоян? — рывкнул он на парня у дверей. — Ну-ка, схватил кувшин — и живо за водой! А ты, сноха, давай сюда пять-шесть полотенец! Быстро! А ты, Павел, братец... что случилось, то случилось!..

К Павлу он обратился вроде бы мягче и глуше, но тут же опять пробился этот *новый* голос Вучко — голос, напомнивший мне то счастливое время, когда он, как наш царь, с ножичком в руке кричал: «В атаку!»

— Ты, Павел, скажи в аптеку! Да так, чтоб я думал, что ты там, а ты уже здесь! И скажи тому аптекарю, скажи ему, чтобы все хорошо приготовил да чтоб нам товара своего не жалел, — пусть дает лекарства, заплатим ему всё, сколько бы ни стоило!

Опять его голос дрогнул:

— Давай, дорогой мой Павел, мой по Богу брат!

Все разлетелось.

Тогда Вучко бросил на меня неуверенный взгляд, словно разрешения спрашивал, и лишь потом распростерся по Видаку и горько зарыдал.

Уже в полночь Видак очнулся. На следующий день доктор, когда пришел, снова констатировал лишь перелом ключицы и сотрясение мозга. Вучко он объяснял, что «мозги ему делали так-так!», и болтал рукой; на что Вучко опять спрашивал:

— Ведь они ж не навсегда? Он ведь, знаешь, должен совсем выздороветь!

После доктор опять говорил:

— Не разумеешь!

А Вучко опять:

— Разумею! — и требовал у доктора еще какое-нибудь лекарство: — Только получше, знаешь, вот как этой ночью!

И только Видак, тяжело разбитый, с сотрясением мозга и переломом ключицы, лежал молча, имея виды на полное выздоровление.

За время его болезни я запомнил несколько обстоятельств, о которых должен рассказать.

Часто я бывал с Вучко в лавке, где он теперь один начальствовал над парнями, по отношению к которым так изменился, что они диву давались и в себя прийти не могли. Все он был как-то озабочен и нахмурен. Не знаю, что пришло в голову калфе Ешице, но тот его однажды, вот такого сердитого, дернул за полу гуня⁶ и приятельски позвал поиграть в крейцер. Вучко в ответ влепил Ешице оплеуху и несколько раз лупанул его головой о бадью с постным маслом.

— Ишь, чего удумал! Тут тебе не пивная, а приличный торговый дом!

С того дня даже самый старший калфа начал называть его «газда Вучко».

Хотел бы я вам описать, что Вучко стал совершенно другим человеком, да не знаю как. Совсем другим, но ему это было к лицу. Он стал серьезнее. С приятелями своими и разговаривать не хочет. Говорит то одному, то другому:

— Отойти от меня, прошу тебя, — видишь, я делом занят! Знаешь ведь, что брат болен!

Следит за каждой монетой. Даже по воскресеньям нового платья не наденет. Нигде не присядет, не остановится. Вот он в лавке; вот

⁶ Гунь — мужская куртка из грубого сукна.

в мастерской, где парни шьют гуни; вот в сушилке, где ворошат шишарку⁷; вот на складе, где разливают ракию; вот в погребе, где хранят вино... Дал Бог удачи! Покупателей навалило, но и работы — со всех сторон! Денег в кассе уже как половы!

Но были вещи, которых я тогда не понимал.

Как-то раз захожу проведать Видака. Вошел в дом и вижу, как на кухне Вучко с Илинкой о чем-то шепчутся. Когда поздоровался с ними и получил ответ, что с Видаком все хорошо, они без стеснения продолжили свой разговор:

— И дай мне, пожалуйста, хотя бы грош купить табаку, — говорит Вучко шепотом. — Я уже три дня не курил!

— Балбес! — говорит Илинка, вынимая из кармана полтинник и протягивая деверю. — Что ж сам-то не возьмешь из ящика?

— Не смей, прошу тебя!

— А если он сам тебе скажет?

— Ну разве что сам!.. Спасибо тебе! — говорит Вучко и, приплясывая как дитя, выбегает из кухни.

Как-то в субботу после полудня встречаю на рынке Павла, которого я очень полюбил с того дня, как с Видаком случилось несчастье. Стоит в рыбном ряду, нанизал жабрами на палец купленного карпа. Увидев меня, мило и добродушно улыбнулся и поднял карпа повыше:

— Приходи сегодня вечером ко мне на ужин!

— Нет, братец, на холостяцкий ужин я к тебе не приду, хоть и знаю, что рыбацкую чорбу⁸ ты приготовить сумеешь. Лучше знаешь что? Давай-ка этого карпа сюда!

Он без возражений отдал мне своего карпа, я выбрал еще пару добрых икрыных рыбин из корыта перед собой, расплатился, и мы пошли.

— Я сейчас пойду и все это отдам Илинке, чтобы она нам ужин приготовила, а вечером приходи и ты. Знаешь, как Видак будет рад!

Павел радостно всплеснул руками и вечером заявился с огромной баклагой.

Мы уже собирались садиться ужинать, как из лавки пришел Вучко с торговой книгой и со счетами. Видак ему говорит, мол, садись, сперва поужинаем, а потом уже дела посмотрим. Мы сразу налопались рыбы и стали «пробовать» Павлово вино. Эх, сорваться-поскользнуться! Тут, как водится, завязался и разговор, все пошло по заведенному порядку, но Вучко упорно хотел дать Видаку отчет по счетам. Ничего я не понимал из их разговора (вероятно, из-за Павловой баклаги), но вижу, что уж больно долго они говорят и мало-помалу дошло до серьезных речей. И тогда Вучко, этот прежде

⁷ *Шишарка* (в старых переводах чаще *шитарка*) — чернильные орешки (они же дубильные орешки, «дубовые яблоки») — наросты до 4 см в диаметре, производимые на листьях дуба мелкими насекомыми — орехотворками. В XIX в. использовались для изготовления чернил, для дубления кож, в народной медицине, а также как краситель и были в большой цене.

⁸ *Чорба* (серб.) — мясная или рыбная похлебка, густой суп.

беззаботно-глуповатый Вучко, начал стучать кулаком по столу, упоминать какую-то шерсть, мед, нанковые рубашки, какие-то жестянки, гуни, что-то там еще... Да все больше распаляется — вынул из кармана бумажку, стал хлопать по ней ладонью:

— А это что?! Тут же ясно все, как дважды два — четыре!

Видак сердито выхватил эту цидульку из руки Вучко, остро поглядел ему в глаза, но тут же прыснул смехом и обнял брата:

— Да разве ты, болезный, не видишь, что я с тобой шучу? Я, надо тебе знать... Я...

Он схватил со стола полный стакан вина и осушил его одним духом:

— Я... ты должен знать... мне... Да доведись мне сейчас помереть — помер бы спокойно!.. Я знал... знал я, ей-богу!.. Наливай!

И так мы хорошо накатили, что никто из нас и внимания не обратил, как Видак оперся на ту самую руку, где у него была сломана кость, хотя все мы считали обязанностью за этим хорошо смотреть!

А через день Видак вышел в лавку — правда, все еще со стянутыми повязкой плечами, но тем не менее!

Увидев брата, Вучко смутился и смешался с парнями, которые сразу же потеряли к нему весь былой респект. Представьте! В тот день в дровянике раскалывал он какую-то корягу и, изрядно раскрасневшись, протянул топор калфе Ешице:

— Возьми-ка, ей-богу, притомился я! Уморит она меня совсем.

Ешица нахально ответил Вучко:

— Возьму, если потом со мной в крейцер поиграешь!

У Вучко заплясали глаза. На миг он словно заколебался, но тут же, сам не зная почему, почувствовал, что для него теперь это будет не просто ребячество, но и стыд. Словно резко оттолкнув что-то от себя, он нахмурился и снова протянул Ешице топор:

— Держи и делай, что велено! Если не хочешь, чтобы я тебя снова...

Посрамленный Еша взял топор и начал злобно тюкать по коряге.

Вучко пошел в дом. Когда порядком отошел от Еши, сунул руку в карман, вытащил свинцовую бабку, которой в игре переворачивают крейцеры, и зашвырнул ее куда-то далеко за крышу дома.

В тот же день вечером, незадолго до ужина, Вучко на кухне пристал к Илинке, чтобы намазала ему масла на хлеб — перекусить наскоро. Прибился к ним и я — и словно помолодел.

Илинка необычайно весела оттого, что Видак выздоровел. Все-то посмеивается и подмигивает мне, без конца подначивая Вучко:

— Деверь, болезный, неужели ты ее покинул?

— Молчи, прошу тебя!

— Нет, я, ей-богу, не шучу! Девушка плачет, убивается! Говорит — совсем ты ей внимания не уделяешь!

Вучко уже сам готов заплакать:

— Перестань же, прошу тебя!

— Да нет же, ей-богу, тебе говорю! Так и говорит: с тех пор как *он* разболелся, ты ей ни разу слова ласкового не сказал!

— Прекрати, сноха, чтоб твой сын был здоров!

Илинка замолкла, как утопленница. Только мне подмигнула, стрельнув глазами вслед выбежавшему из кухни Вучко:

— Сохнет он по ней!

— По этой, газда-Станишиной? — спросил я. — А какова девчонка-то?

— Бог с тобой! Отсюда и до самого моря такой не найти!

— Видел я, вроде красива... Но все же...

— Брось ты это «все же»! Говорю тебе — нет такой и в тридевятом царстве!

— А хочет ли она за Вучко замуж?

— Безумно!

— А сам-то он на ней жениться хочет?

— Говорю ж тебе, просто убивается! Но отец ее что-то тянет... Это, знаешь, мой турок никак не хочет язык развязать, все бы уже давно пошло как по маслу...

Илинка посерьезнела и задумалась. Вдруг повернулась ко мне, словно протестуя:

— Все они почему-то Вучко держат за что-то такое... мол, легко живет, не слишком на работе упирается! Но я тебе говорю: он единственный, кто у нас не за деньги работает! А не дашь человеку, так и он не даст много... Но ты сам знаешь: это *он* так определил! А *он*, братец, знает все!..

— Знаю, знаю! Я и сам вижу, что Вучко вовсе не ветрогон какой.

На воскресенье позвали меня на обед, причем позвали как-то чудно: Видак лично меня пригласил. Я сказал:

— Хорошо!

— Нет, — говорит он, — не «хорошо», а чтобы обязательно был!

— Да приду я, как и до сих пор приходил, я ж из дома твоего, счи-тай, не вылезал.

— Знаю, но ничем другим в воскресенье не занимайся!

— Да бог с тобой, человече! Приду, коль буду жив-здоров.

Прихожу я, конечно же, на обед. Застаю Вучко во дворе, как обычно: руками малыша держит, а глазами за забор пялится. Зато одет он — как на Пасху! Удивился я и спрашиваю его:

— Чего это ты так вырядился?

Он лишь плечами пожал:

— Брат так велел.

Когда я вошел в дом, удивился еще больше: вижу, что и Видак на себя натянул все, что у него есть наилучшего! Еще больше меня удивило, что Илинка как раз ему примеряла под пояс новый, дивно вышитый кисет, чтобы «поглядеть, хорошо ли смотрится». А Видак тут же

вытащил кисет из-за пояса и, словно пряча, засунул его за пазуху под джемадан⁹.

Да что ж это такое? Или я с ума сошел, или сегодня тут все само по себе с ума сходит? Видак же не курит!

Но по-настоящему я удивился, когда прошел в комнату и увидел там, помимо неотлучного Павла, еще и попа, а с ним и господина Стояна — писаря. А эти двое здесь к чему?

Опять выхожу из комнаты, потихоньку спрашиваю у Илинки. Она весело смеется, сжимая кулачки, — как дети, когда чему-то особенно радуются:

— Иди, иди, прошу тебя, в комнату! Слава Богу — восстал человек из мертвых! Сегодня первый раз после болезни в церкви был! Ну как же нам не праздновать?

— А, так лишь в этом дело?

Ну да, так и есть! Видимо, Стоян-писарь Видаку тоже добрый приятель. Я его, правда, прежде у них не видел, но... А поп? Э, ну это уже понятно: они же из церкви вернулись!

Сели мы обедать. Едим, пьем. Льет, братец, поп то вино — словно ручей течет! И возглашает здравицу за здравницей. А порядок такой: коли чокнулся — должен выпить. Выпей, усы утри, опять выпей! В общем, напились мы.

— Эй, Видак! — вскрикнул вдруг поп, да так громогласно, словно Видак был от него на ружейный выстрел.

Пьян, что ли, или обезумел?

— Слушаю, отче! — выкрикнул Видак в ответ точно так же.

— А хорошо ли себя ведет твой Вучко?

— Этот, что ли, брат мой родной?

— Ну да, он!

— Сохрани бог, лучше некуда!

Вучко побелел как полотно, и глаза его увлажнились.

— А что ж ты его не женишь?

— Да не могу пока — первым делом надо посмотреть, будет ли ему чем кормить жену! А, господин Стоян?

Опьяневшим разумом я понял, что тут изображают театр, но подробности того представления теперь вспоминаю с большим трудом.

Поп встал из-за стола. За ним встал Видак, встала Илинка. Встали Павел и господин Стоян. Встали и мы с Вучко.

Господин Стоян вытащил из пальто (в те времена все «господа» уже носили немецкое) какую-то грамоту и стал ее зачитывать таким же безумным криком:

— До-го-вор!.. Между нами, двумя родными братьями... мной, Видаком, и мной, Вучко, урожденными Теофиловичами... в отношении

⁹ Джемадан (тур.) — вид жилета.

нашего совместного, общего братского имения!.. нашим совместным трудом нажитого!.. о том, как что следует...

Это был договор, по которому Видак принимал своего брата Вучко в торговые компаньоны, а все свое имение называл их общим.

Дочитывая последние строки, господин Стоян всхлипывал. Добрый Павел зарыдал в голос, да и все мы ударились в слезы. Вучко подошел к руке попу, собрался было и Видаку, но тот его поднял и расцеловался с ним по-братски. После Вучко расцеловался и с Илинкой, и со всеми нами.

От слез ли, от вина ли, уж и не припомню точно, что там дальше было. Но вспоминаю, как некоторое время спустя я засмотрелся на Вучко, одиноко сидевшего на тахте в дальнем углу комнаты.

Тут Видак заметил, куда я смотрю, и окликнул брата:

— Эй, Вучета!

— Слушаю, братец!

— Садись-ка сюда, человече, да подыми... Дай, Илинка, ему тот чубук!

Илинка вылетела из комнаты и в миг единый вернулась, неся чубук черного дерева с огромным янтарным мундштуком.

Видак взял чубук из ее рук и передал Вучко:

— Закуривай!

Вучко ощупал себя вокруг пояса.

— Ну-ка! — говорит Видак жене. — А вот тебе то, что ты вышивала, да забыла!

Он вытащил из-за пазухи тот кисет и протянул Илинке, которая тут же передала его Вучко:

— Закуривай, деверь!

Вучко нахмурился. Захватив полную горсть табаку, он набил трубку, вытянул ее перед собой и попросил Илинку:

— Кликни, пожалуйста, кого-нибудь из парней!

— Да не надо, я сама! — Илинка бегом принесла из кухни уголек в щипцах.

Вучко глотал дым, но больше слюну: знай себе тянет и молчит, пока в трубке не забулькало. Тогда он ее вытряс, набил вторую и раскурил ее недотлевшей искоркой. Сделав затяжку-другую, выдохнул через чубук:

— Ох, братец, а как наша шишарка просохла! Совсем уже дошла — суха, словно порох! Не знаю, чего ты ее хранишь, я бы уже продал!

— А ее как раз у нас спрашивал сосед Станиша, вот мы ему и предложим. Мы с твоей снохой ему обещали, что вечером придем — сватать за тебя ихнюю Милку, так что, если это дело удачно свершим, заодно и с шишаркой подгадаем. А?

И сосватали мы ее. Помню, как бросил я цыгану монету на бубен и схватил Илинку за руку:

— Пошли плясать! Давай мы с тобой начнем — глядишь, и еще кто пойдет за нами! А то этому конца нет... Знаешь, у меня уже голова гудит!..

Поднялись и остальные. И пошли мы в пляс.

— Слышь, Илинка, этот твой Видак, и Вучко... да, сестренка, и Павел, и Станиша, и все эти ваши люди — это что-то необыкновенное!.. Удивительные люди, ей-богу!

— Эх! — говорит мне Илинка победоносно. — Не знаешь ты наших людей! Им что день, что ночь — на месте не стоят! Лишний раз не прилягут, не присядут, уже ложкой не в рот, а в нос попадают, на ходу едят... И притом всюду успевают, и знают, когда чему время и место!.. У них, правда, в картах иногда и по шесть валетов выпадает, но, когда в глазах двоится, друг другу сотни дукатов платят как ни в чем не бывало! И верь — знают они все что хочешь! Вот он, например! А он знает все, словно какой Гуттенберг!

— Знает, знает, да что толку-то?!

